

**Семейное счастье.
Крейцерова соната. Рассказы**

Про книгу

В издание представлены повести и рассказы великого писателя.

«Крейцера соната», «Семейное счастье» поднимают проблемы этики и нравственности, вопросы брака и истинной любви. Что важнее: страсть или верность любимому человеку?

Также в сборник вошли рассказы «После бала», «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Записки маркера», «Хозяин и работник».



Л. Н. ТОЛСТОЙ



Семейное счастье
Крейцеровая соната
Рассказы



Шедевры на все времена

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РОСМАН" 

Л. Н. Толстой

**Семейное счастье. Крейцеровва
соната. Рассказы**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2011

ISBN 978-966-14-2734-0 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Толстой Л. Н.

Т53 Семейное счастье. Крейцера соната. Рассказы [Текст] / худож. Н. Ломакин. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2011. — 384 с. : ил.

ISBN 978-966-14-1084-7 (Украина, т. 13).

ISBN 978-966-14-0428-0 (серия).

ISBN 978-5-9910-1407-6 (Россия, т. 13).

ISBN 978-5-9910-0848-8 (серия).

ББК 84.4Р1

Лев Николаевич Толстой родился в усадьбе Ясная Поляна 9 сентября 1828 года. Среди предков писателя по отцовской линии — сподвижник Петра I П. А. Толстой, одним из первых в России получивший графский титул. Участником Отечественной войны 1812 г. был отец писателя граф Н. И. Толстой. По материнской линии Толстой также был связан родством с многими знатными семьями.

Толстой рано осиротел. С сестрой и тремя братьями Лев Николаевич переехал из Москвы в Казань, где жила одна из отцовских сестер, ставшая их опекуной.

С 1844 г. Толстой учился сначала на восточном, а затем на юридическом факультете Казанского университета. Оставив университет, он уехал из Казани в Ясную Поляну, полученную им по наследству. Затем отправился в Москву, где в конце 1850 г. началась его писательская деятельность. Вскоре Толстой поехал на Кавказ и поступил в действующую армию юнкером. Позже он сдал экзамен на младший офицерский чин. Впечатления писателя от Кавказской войны отразились в рассказах «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855), «Разжалованный» (1856), в повести «Казачи» (1852—1863). На Кавказе была завершена повесть «Детство», в 1852 г. напечатанная в журнале «Современник».

Когда началась Крымская война, Толстой перевелся в Дунайскую армию, а затем в Севастополь. Был награжден орденом Анны и медалями «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853—1856 гг.».

Осенью 1856 г. Толстой вышел в отставку и отправился за границу, посетил Францию, Швейцарию, Италию и Германию. В 1859 г. Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а затем помог открыть более 20 школ в окрестных деревнях. После манифеста 1861 г. Толстой вошел в число мировых посредников первого призыва, стремившихся помочь крестьянам решать их споры с помещиками о земле. Вскоре в Ясной Поляне жандармы произвели обыск в расчете обнаружить тайную типографию, которую писатель якобы завел после того, как общался в Лондоне с А. И. Герценом.

Толстому пришлось закрыть школу и прекратить издание педагогического журнала. Его перу принадлежат одиннадцать статей о школе и педагогике.

В 1862 г. Толстой женился на дочери московского врача Софье Андреевне Берс.

После завершения романа «Война и мир» (1863—1869) писатель несколько лет изучал материалы о Петре I и его времени. Однако в начале 1870-х гг. писателя вновь увлекла педагогика. Была написана знаменитая «Азбука», составлены «Книги для чтения», куда он включил и свои рассказы.

Весной 1873 г. Толстой начал и через четыре года закончил работу над большим романом о современности — «Анна Каренина».

В начале 1880-х гг. Толстой с семьей переехал из Ясной Поляны в Москву, заботясь о том, чтобы дать образование подраставшим детям. В своих публицистических произведениях того времени Толстой выступал одновременно и как художник, и как публицист, глубокий психолог и смелый социолог-аналитик. В эти и последующие годы Толстой пишет также религиозно-философские сочинения: «Критика догматического богословия», «В чем моя вера?», «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», «Царство Божие внутри вас».

В это же время появились повести «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер» («История лошади»), «Крейцера соната» (1887—1889). В ней, а также в рассказе «Дьявол» (1889—1890) и повести «Отец Сергей» (1890—1898) ставятся проблемы любви и брака, чистоты семейных отношений.

Идеей о неминуемой и близкой по времени «развязке» социальных противоречий, о замене изжившего себя общественного «порядка» одухотворено крупнейшее произведение всего творчества «позднего» Толстого — роман «Воскресение» (1889—1899).

В последнее десятилетие жизни писатель работал над повестью «Хаджи-Мурат» и одной из лучших своих пьес — «Живой труп». Остро прозвучала статья «Не могу молчать» (1908), в которой он протестовал против репрессий над участниками событий 1905—1907 гг. К этому же периоду относятся рассказы писателя «После бала», «За что?».

Тяготясь укладом жизни в Ясной Поляне, Толстой в ночь на 28 октября (10 ноября) тайно покинул Ясную Поляну. По дороге он заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Астапово (ныне Лев Толстой), где и умер. 10 (23) ноября 1910 г. писателя похоронили в Ясной Поляне.

Семейное счастье

Часть первая

I

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платье. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамаша была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня

заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на «зачем» не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выдти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась, во что бы то ни стало, везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобраться наши дела. В марте приехал опекун.

— Ну слава Богу! — сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, — Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, — прибавила она, — а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больше всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамаша запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, и он говорил мне *ты*, играл со мной и прозвал меня *девочка-фуялка*, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

— Ах! неужели это вы? — сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. — Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот-те и фиалка! Вы целой розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку, и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменялся; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лица, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

— Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! — сказал он, останавливаясь.

— Да, — сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

— Вы, я думаю, помните вашего отца? — обратился он ко мне.

— Мало, — отвечала я.

— А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! — проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. — Я очень любил вашего отца! — прибавил он еще тише и мне показалось, что глаза его стали блестящее.

— А тут ее Бог взял! — проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

— Да, страшные перемены в этом доме, — повторил он, отвернувшись. — Соня, покажи игрушки, — прибавил он через несколько времени и вышел в залу.

Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

— Это такой славный друг! — сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

— Марья Александровна! — послышался его голос. — Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

— Вот это сыграйте, — сказал он, раскрывая тетрадь Бетговена на адажио сонаты *quasi una fantasia*[1]. — Посмотрим, как-то вы играете, — прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но скерцо он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, — сказал он, подходя ко мне, — это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один

на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

— Самого-то главного она и не рассказала мне, — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

— Что ж рассказывать! — сказала я, — это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.)

— Это нехорошо не уметь переносить одиночества, — сказал он, — неужели вы барышня?

— Разумеется, барышня, — отвечала я, смеясь.

— Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; все только для показу, а для себя ничего.

— Хорошего вы мнения обо мне, — сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

— Нет! — проговорил он, помолчав немного, — недаром вы похожи на вашего отца. В вас *есть*, — и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня. Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.

— Вам не должно и нельзя скучать, — сказал он, — у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мной. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим. Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

— Ну, прощайте, любезные друзья, — сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

— Когда же увидимся опять? — спросила Катя.

— Весной, — отвечал он, продолжая держать меня за руку, — теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву уж по своим делам, а лето будем видеться.

— Ну что ж это вы так надолго? — сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

— Да; побольше занимайтесь, не хандрите, — сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. — А весной я вас проэкзаменую, — прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! — подумала я. — Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только».

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и все говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом.

Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло-вычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидела его.

— А! Сергей Михайлыч! — проговорила она, — а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

— Ну, что за церемонии в деревне, — сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, — ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. — Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

— Я сейчас приду, — сказала я, уходя от него.

— Чем же это дурно! — прокричал он мне вслед, — точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, — думала я, торопливо переодеваясь наверху. — Ну, слава Богу, что он приехал, веселей будет!» И посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробить в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

— Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, — сказала Катя, — а то мы одни как в лесу там будем.

— Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, — сказал он полушутя, полусерьезно.

— Так что ж, — сказала я, — поедemте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

— А матушка? А дела? — сказал он. — Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему все, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

— Как я люблю ваше Покровское, — сказал он, прерывая разговор. — Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

— Ну что ж, и сидите, — сказала Катя.

— Да, сидите, — проговорил он, — жизнь не сидит.

— Что вы не женитесь? — сказала Катя. — Вы бы отличный муж были.

— Оттого, что я люблю сидеть, — засмеялся он. — Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

— Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, — сказала Катя.

— Да еще как отжил, — продолжал он, — только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, — прибавил он, головой указывая на меня. — Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

— Ну, представьте себе, — продолжал он, повернувшись на стуле, — ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш... на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит... и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад, и что такое так выходит...

— Ну, скажите по правде, руку на сердце, — сказал он, шутливо обращаясь ко мне, — разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.

— Ведь я не делаю вам предложенья, — сказал он, смеясь, — но по правде, скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

— Не несчастье... — начала я.

— Ну, а нехорошо, — докончил он.

— Да, но ведь я могу ошиба...

Но опять он перебил меня.

— Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье, — прибавил он.

— Какой вы чудак, ничего не переменились, — сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин.

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издали откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатою звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полыхнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

— Отлично жить на свете! — проговорил он.

Я вздохнула отчего-то.

— Что?

— Отлично жить на свете! — повторила я.

И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

— Однако прощайте, — сказал он, вставая, — матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

— А я хотела сыграть вам новую сонату, — сказала я.

— В другой раз, — сказал он холодно, как мне показалось. — Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала все то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на все его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которою он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «Полноте, пожалуйста, что вам до этого», и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша; а напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически,

в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, — как ребенка, или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже несколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шуточный тон:

— Да, да, в вас *есть*. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось,

каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя, я на все стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и все только оттого, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их. Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком, и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне все не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего создания, поняла все, чем я обязана ей, и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня.

Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Все то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только придти, чтобы все то же заговорило и наперерыв запросилось в душу, наполняя ее счастьем.

Часто в это лето я приходила наверх, в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски желаний и надежд в будущем тревога счастья в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать, вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было говорить ей: она сама могла видеть это. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно, и что она тоже очень счастлива, и целовала меня. Я верила ей, мне казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о снe и даже, притворяясь сердитою, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала; а я долго еще перебирала все то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за все то счастье, которое Он дал мне.

И в комнатке было тихо; только сонно и ровно дышала Катя, часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее. Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какая-нибудь муха или комар, колеблясь, жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки, не хотелось, чтобы приходило утро, не хотелось, чтобы разлетелась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы — живые существа, тут во мраке живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мысль, и каждое чувство — его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь, я думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство.

Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлыч уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его, тем более, что наш приказчик сказал, что он обещал приехать на поле. Часу во втором мы видели, как он верхом проехал на ржаное поле. Катя велела принести персиков и вишен, которые он очень любил, с улыбкой взглянув на меня, прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую, плоскую ветку липы с сочными листьями и сочной корой, обмочившею мне руку, и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на полевую дорогу, по которой он должен был приехать. Соня у корня старой липы строила беседку для кукол. День был жаркий, безветренный, парило, тучи срастались и чернели, и с утра еще собиралась гроза. Я была взволнована, как всегда перед грозой. Но после полудня тучи стали разбираться по краям, солнце выплыло на чистое небо, и только на одном краю погромыхивало, и по тяжелой туче, стоявшей над горизонтом и сливавшейся с пылью на полях, изредка до земли прорезались бледные зигзаги молнии. Ясно было, что на нынешний день разойдется, у нас по крайней мере. По видневшейся местами дороге за садом, не прерываясь, то медленно тянулись высокие скрипящие воза с снопами, то быстро, навстречу им, постукивали пустые телеги, дрожали ноги и развевались рубахи. Густая пыль не уносилась и не опускалась, а стояла за плетнем между прозрачною листвою деревьев сада. Подальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрип колес, и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора, там летали по воздуху, и на моих глазах росли овальные дома, выделялись их острые крыши, и фигуры мужиков копошились на них. Впереди, на пыльном поле, тоже двигались телеги, и те же виднелись желтые снопы, и также звуки телег, голосов и песен доносились издали. С одного края все открытее и открытее становилось жнивье с полосами полынью поросшей межи. Поправее, внизу, по некрасиво спутанному, скошенному полю виднелись яркие одежды вязавших баб, нагибающихся, размахивающих руками, и спутанное поле очищалось, и красивые снопы часто расставлялись по нем. Как будто вдруг на моих глазах из лета сделалась осень. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего

любимого местечка в саду. Со всех сторон в этой пыли и зное на горячем солнце говорил, шумел и двигался трудовой народ.

А Катя так сладко похрапывала под белым батистовым платочком на нашей прохладной скамейке, вишни так сочно-глянцевито чернели на тарелке, платья наши были так свежи и чисты, вода в кружке так радужно-светло играла на солнце, и мне так было хорошо. «Что же делать? — думала я, — чем же я виновата, что я счастлива? Но как поделиться счастьем? как и кому отдать всю себя и все свое счастье?..»

Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в боковом освещении, тучи совсем разошлись, на гумне из-за деревьев видны были три новые крыши скирд, и мужики сошли с них; телеги с громкими криками проскакали, видно, в последний раз; бабы с граблями на плечах и свяслами на кушаках с громкою песнью прошли домой, а Сергей Михайлыч все не приезжал, несмотря на то, что я давно видела, как он съехал под гору. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура (он обошел оврагом). С веселым, сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Увидав, что Катя спит, он закусил губу, закрыл глаза и пошел на цыпочках; я сейчас заметила, что он находился в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем, и которое мы называли диким восторгом. Он был точно школьник, вырвавшийся от ученья; все существо его, от лица и до ног, дышало довольством, счастьем и детскою резвостию.

— Ну, здравствуйте, молодая фиалка, как вы? хорошо? — сказал он шепотом, подходя ко мне и пожимая мне руку... — А я отлично, — отвечал он на мой вопрос, — мне нынче тринадцать лет, хочется в лошадки играть и по деревьям лазить.

— В диком восторге? — сказала я, глядя на его смеющиеся глаза и чувствуя, что этот *дикий восторг* сообщался мне.

— Да, — отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. — Только за что же Катерину Карловну по носу бить?

Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как я сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я засмеялась.

— А она скажет, что не спала, — проговорила я шепотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю; но совсем не затем: мне просто приятно было шепотом говорить с ним.

Он зашевелил губами, передразнивая меня, будто я говорила уже так тихо, что ничего нельзя было слышать. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней на перегонки должен был съедать вишни.

— Хотите, я велю еще принести, — сказала я, — или пойдете сами.

Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтоб он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне.

— Ну, как же вы не фиалка, — сказал он мне все еще тихо, хотя некого уже было бояться разбудить, — как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиалкой. И не душистою фиалкой, а знаете, эту первую, темненькую, которая пахнет снежком талым и травую весеннюю.

— Ну, а что, хорошо все идет по хозяйству? — спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.

— Отлично! этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

— Да, — сказала я, — нынче перед вами я смотрела из саду на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что...

— Не кокетничайте этим, мой друг, — перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза, — это дело свято. Избави вас Бог щеголять этим.

— Да я вам только говорю это.

— Ну да, я знаю. Ну, как же вишни?

Сарай был заперт, и садовников никого не было (он их всех усылал на работы). Соня побежала за ключом, но он, не дожидаясь ее, взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул на другую сторону.

— Хотите? — послышался мне оттуда его голос. — Давайте тарелку.

— Нет, я сама хочу рвать, я пойду за ключом, — сказала я, — Соня не найдет...

Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидела Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! «Не может быть», — думала я. — «Милая Маша!» — повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забило у меня так сильно, и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватила руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услышал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное, и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.

— Однако слезайте, ушибетесь, — сказал он. — Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.

«Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?» — с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.

— Нет, я хочу сама рвать, — сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать

меня, как я уж соскочила в сарай на землю.

— Какие вы глупости делаете! — проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение, — ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?

Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом, и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а все слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.

Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.

— Мужчина может сказать, что он любит, а женщина — нет, — говорила она.

— А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, — сказал он.

— Отчего? — спросила я.

— Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп — любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалют. Мне кажется, — продолжал он, — что люди, которые торжественно произносят эти слова: «Я вас люблю», — или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

— Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? — спросила Катя.

— Этого я не знаю, — отвечал он, — у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у

поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «Я люблю тебя, Элеонора!» — и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, — те же самые глаза и нос, и все то же самое.

Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.

— Вечно парадоксы, — сказала она. — Ну, скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?

— Никогда не говорил и на колени на одно не становился, — отвечал он, смеясь, — и не буду.

«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, — думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. — Он любит меня, я это знаю. И все старание его казаться равнодушным не разуверит меня».

Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда все уже так ясно, и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне все казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.

После чаю я пошла к фортепьяно, и он пошел за мною.

— Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слышал, — сказал он, догоняя меня в гостиной.

— Я и хотела... Сергей Михайлыч! — сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. — Вы не сердитесь на меня?

— За что? — спросил он.

— Что я вас не послушала после обеда, — сказала я, краснея. Он понял меня, покачал головою и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.

— Ничего не было, мы опять друзья, — сказала я, садясь за фортепьяно.

— Еще бы! — сказал он.

В большой высокой зале было только две свечи на фортепьяно, остальное пространство было полутемно. В отворенные окна глядела светлая летняя ночь. Все было тихо, только Катины шаги с

перемежечкой поскрипывали в темной гостиной, и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой я чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видала, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне, и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него. Голова его отделялась на светлевшем фоне ночи. Он сам сидел, облокотившись головою на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головою на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой серебристый свет, падавший на пол. Катя сказала, что ни на что не похоже, как я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которою мы стояли у фортепьяно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилу удерживалась от смеха.

— Что с нею сделалось нынче? — говорила ему Катя.

Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мною сделалось.

— Посмотрите, что за ночь! — сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытою в сад балконною дверью...

Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна

террасы наискоски ей рассосис[2] лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и обито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в тумане и вдаль. Из-за деревьев виднелась светлая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлажненные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома все было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо-раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут, недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетела куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.

— Пойдемте ходить, — сказала я.

Катя согласилась, но сказала, чтоб я надела калоши.

— Не надо, Катя, — сказала я, — вот Сергей Михайлыч даст мне руку.

Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троим было понятно и ничуть не странно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странным. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала.

Когда я смотрела вперед по аллее, по которой мы шли, мне все казалось, что туда дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что все это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья. И мы точно ходили по дорожкам, наступали на круги света и тени, и точно сухой лист шуршал под ногою, и свежая ветка задевала меня по лицу. И это точно был он, который, ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая, шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви...

Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что можно еще идти

дальше, переставала верить во все, что было.

— Ах! лягушка! — проговорила Катя.

«Кто и зачем это говорит?» — подумала я. Но потом я вспомнила, что это Катя, что она боится лягушек, и я посмотрела под ноги. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки.

— А вы не боитесь? — сказал он.

Я оглянулась на него. Одной липы в аллее не доставало в том месте, где мы проходили, мне ясно было видно его лицо. Оно было так прекрасно и счастливо...

Он сказал: «Вы не боитесь?» — а я слышала, что он говорил: «Люблю тебя, милая девушка!» — Люблю! люблю! — твердил его взгляд, его рука; и свет, и тень, и воздух, и все твердило то же самое.

Мы обошли весь сад. Катя ходила рядом с нами своими маленькими шажками и тяжело дышала от усталости. Она сказала, что время вернуться, и мне жалко, жалко стало ее, бедняжку. «Зачем она не чувствует того же, что мы? — думала я. — Зачем не все молоды, не все счастливы, как эта ночь и как мы с ним?»

Мы вернулись домой, но он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его все чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно, и мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели, сами не зная того, до третьего часа утра. Уж кричали третьи петухи, и заря начала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного; но я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я все рассказала и Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я долго, еще долго ходила по террасе, сходила в сад и, припоминая каждое слово, каждое движение, прошла по тем аллеям, по которым мы прошли с ним. Я не спала всю эту ночь и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня? — думала я. — Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда все так просто и прекрасно? Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю, словами скажет:

люблю; пускай рукой возьмет мою руку, пригнет к ней голову и скажет: люблю. Пускай покраснеет и опустит глаза передо мной, и я тогда все скажу ему. И не скажу, а обниму, прижмусь к нему и заплачу. Но что, ежели я ошибаюсь, и ежели он не любит меня?» — вдруг пришло мне в голову.

Я испугалась своего чувства, — Бог знает, куда оно могло повести меня; и его и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело, тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокоившая меня мысль и надежда. Я решила говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестою.

Зачем? почему? как это должно случиться? — я ничего не знала, но я с той минуты верила и знала, что это так будет. Уже совсем рассвело, и народ стал подыматься, когда я вернулась в свою комнату.

IV

Был успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение — говеть в это время.

Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне нужно было делать нынче, чтобы быть довольною своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешною. Казалось, стоило только немножко постараться. Подъезжали лошади, я с Катей или с девушкой садилась в линейку, и мы ехали за три версты в церковь. Входя в церковь, я всякий раз вспоминала, что молятся за всех, «со страхом Божиим входящих», и старалась именно с этим чувством всходить на две поросшие травой ступени паперти. В церкви бывало в это время не больше человек десяти говевших крестьянок и дворовых; и я с старательным смирением старалась отвечать на их поклоны и сама, что мне казалось подвигом, ходила к свечному ящику брать свечи

у старого старосты, солдата, и ставила их. Сквозь царские двери виднелся покров алтаря, вышитый мамашей, над иконостасом стояли два деревянные ангела с звездами, казавшиеся мне такими большими, когда я была маленькая, и голубок с желтым сиянием, тогда занимавший меня. Из-за клироса виднелась измятая купель, в которой столько раз я крестила детей наших дворовых, и в которой и меня крестили. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрывала гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым с тех самых пор, как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме: и крестины Сони, и панихиды отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе, и та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись, стояла у стены и плачущими глазами смотрела на икону в клиросе и прижимала сложенные персты к полинялому платку, и беззубым ртом шептала что-то. И все это уже не любопытно, не по одним воспоминаниям близко мне было, — все это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него и, ежели не понимала, то мысленно просила Бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так темно в сравнении с светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой; но вместе с тем чувствовала, что все это простится, и что ежели бы и еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил: «Благословение Господне на вас», — мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщаемое мне физическое чувство благосостояния. Как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. Служба кончалась, батюшка выходил ко мне и спрашивал, не нужно ли и когда приехать к нам служить всенощную; но я трогательно благодарила его за то, что он хотел, как я думала, для меня сделать, и говорила, что я сама приду или приеду.

— Сами потрудиться хотите? — говаривал он.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ